

ХУДОЖНИК

Памяти Геннадия Григорьевича Голобокова.

– У меня было много времени на раздумья. За годы неподвижности я осознал очень простую вещь: человечество должно ставить себе цели на вырост. С безупречной ясностью осознал. Сейчас это, наверное, звучит банально, но так было не всегда.

Так говорил мне Художник, когда жарким июльским днём мы с ним шли по аллее Александровского сада. Завтра в Манеже по инициативе ассоциации «Геона» открывалась экспозиция «Очеловечивание Вселенной», где мой собеседник выставлял несколько своих новых работ.

– Макаренко первый понял, что воспитать человека – это значит расставить вехи, по которым будет располагаться его завтрашняя радость, – продолжал он. – Но ещё раньше мы стихийно применили это правило ко всему обществу – и получилось! Научные институты, создаваемые в гражданскую войну. Затем, в двадцать первом, персональная пенсия чудачу по фамилии Циолковский. И вот уже Королёв по заданию правительства конструирует ракету для доставки смертоносного груза, а сам втайне лелеет надежду использовать её для запуска человека в космос и предусматривает в её конструкции такую возможность. Всё, что я перечислил, – абсурд с точки зрения «здорового смысла», но без этого «абсурда» двадцатый век остался бы в истории только железным веком... Вы, конечно, скажете, что это Правило Неравновесности, которое теперь в школах проходят.

– Скажу, – с удовольствием подтвердил я: – «Разумное общество ставит себе задачи опережающего развития».

– И будете правы, – согласился Художник. – Просто, мне эти истины приходили не путём научного анализа, а как космическое откровение, через ослепительные нездешние образы, пока я привыкал к жизни неподвижного существа с одряхлевшим и непослушным телом, лёжа в своём родном Балакове. Возьму в зубы кисть, оплету её пальцами, сделаю мазок-другой – а подрамник мне на грудь ставили – и рука падает обессиленная. А мысли не оставляют, они только ярче и пронзительнее становятся, как искры, в ночи летящие от костра над обрывистым берегом Волги: Великое Пограничье, передний край познания, раскрытие новых пространств – и эмоциональное богатство человека. Именно человека будущего, а не сверхчеловека ницшеанского...

Мы задержались возле Обелиска. Художник стоял в шаге от меня – стройный, несмотря ни на возраст (приближалось его восьмидесятилетие), ни на всё пережитое, – и вчитывался в надписи на граните. Я не знал, какие дали ему открывались за именами революционеров и утопистов, но когда слабый ветерок касался его мужественного лица и шевелил лёгкие седые волосы над высоким лбом, казалось, что это сухой ветер заволжских степей доносит сюда из будущего эхо стартующих звездолётов...

Мальчишкой трудных послевоенных лет он мечтал о дальних мирах и готовился стать астрономом, пока тот роковой прыжок с обрыва не разрушил все планы. Друзья его вытащили на берег уже без сознания.

Затем был Саратовский институт нейрохирургии и двадцать шесть лет почти полной неподвижности. Тогда, проявив всю стойкость духа, он и стал создавать стихи и картины, которые были не только светлой и смелой мечтой о будущем, но также исследованием психологии людей этого самого будущего.

Тело, послушное приказам мозга, ему вернул в то время ещё мало кому известный молодой врач, ученик Бехтеревой. Он забрал Художника в Москву в НИИ нейрофизиологии и стал обучать собственному восстановительному методу.

За окном отдельной палаты метель сменялась кружением тополиного пуха, за хороводом осенней листвы приходили холодные дожди, в вечернем небе восходили Плеяды, предвещая наступление зимы, а Художник, противопоставив волю к жизни бездушной и нелепой случайности, день за днём отвоёвывал у небытия новые миллиметры своей живой плоти. Затем вновь приходила весна, многоголосьем звенела капель, и ошалело пели птицы во дворе. Весной особенно хотелось жить...

Через два года он вышел из дверей института на собственных ногах, ведя под руку молодую ассистентку врача – свою будущую жену, – удивительно похожую на девушку с его картин «Прощание» и «Сибирь завтрашнего дня».

– О том же давно писал де Сент-Экзюпери. – Мой собеседник вернулся к теме разговора. Процитировал по памяти: – «Заставь их строить башню, и они почувствуют себя братьями, но если ты хочешь, чтобы они возненавидели друг друга, брось им маковое зерно».

– «Цитадель» – книга его непростой жизни. По сравнению с ней все остальные свои вещи он считал лишь пробой пера – и, по-моему, напрасно.

– Вижу, это один из ваших любимых авторов, – с явным удовольствием отметил Художник и продолжил прерванную мысль: – Вот я и думаю, может быть, в *той* реальности мы перестали «строить башню»? Ведь были такие настроения после первых успехов в космосе – сосредоточиться на наращивании потребления, «догнать и перегнать...» Стругацкие показали, к чему это может привести, их «Хищные вещи века» тогда бурно обсуждали. В ходе тех дискуссий кто-то из «особо одарённых» критиков пенял Братьям, что они в повести изобразили потребительское общество привлекательным. Ефремов, конечно, заступился за молодых коллег. Привлекательным – это дело вкуса, сказал он, но зачем же приписывать свои вкусы всем читателям!.. И всё же, не подоспей Вторая революция, эти настроения только усиливались бы от безысходности, и через поколение настала бы катастрофа. Как вы думаете, правдоподобно?

– Более чем, – ответил я. – Спасибо за идею, Геннадий Григорьевич!

...Мы попрощались перед входом в облицованный бежево-розовым песчаником пешеходный тоннель, ведущий к станции «Библиотека имени Ленина». Художник пожал мне руку и направился к метро. Я возвратился в парк и повернул к Боровицкому холму, чтобы полюбоваться парящей в небесной лазури белоснежной громадой дома Пашкова и островерхими башнями восстановленного комплекса Алексеевского монастыря над соловьиной зеленью дворов Волхонки. Медленно двигаясь по аллее, я раздумывал над последней фразой этого человека, чьё творчество сильно повлияло на меня: «Каждая цивилизация рано или поздно проходит испытание зрелостью. Мне кажется, у нас это испытание ещё впереди».